

Перевод Ольги Чагиной

Письмо

Нам выдали первый бланк письма: на листе, исписанном инструкциями на немецком языке, было несколько свободных граф для заполнения на итальянском. Правая половина листа отводилась на ответ, так что надо было ещё не перепутать две его части, писать же разборчиво, карандашом и над пунктирными линиями, как того требуют международные конвенции, защищающие права человека.

Раздали нам и по двойной открытке-раскладушке, содержащей строгие указания на французском языке: вторую часть этого изобретения почтового гения надлежало приклеить к упакованной по всем правилам посылке, чтобы та могла покинуть Италию и прибыть к месту нашего временного пребывания.

Капитан Н. озабоченно сообщил мне, что на всё про всё там 24 строчки, а капитан К. добавил, что если в эти 24 строчки кроме прочего мы должны были вписать ещё и подробные инструкции по упаковке посылок, то дела наши обстояли явно из рук вон плохо. «Придётся добиться максимальной сжатости», – подытожил капитан М.

Мы сосредоточенно принялись за работу и по мере продвижения делились друг с другом личными достижениями.

Капитану Н. хотелось узнать, как идут семейные и хозяйственные дела, и он после некоторого раздумья выдал первую гениальную формулировку: «Новостни о домделах и хозвопросах». Мы нашли эти лаконизмы виртуозными, и капитан Н. получил всеобщее признание наравне с капитаном К., который свою просьбу к супруге прислать ему полотняный китель и полное обмундирование из шерстяного сукна выразил в чеканном: «Впакуй полотнякить и шерстобмунд».

Покончив с этим, мы принялись за решение куда более сложной задачи: объяснить в двух словах, как правильно собрать нам посылку. Она должна была быть в 5 кг, плотно упакована, с приклеенным к ней тем самым отрывным купоном, в неё нельзя было вкладывать бумаги, медикаменты, легковоспламеняющиеся жидкости, но надо было постараться вместить туда по возможности табак, сигареты, ячменный полуфабрикат и пшеничную муку.

Пришлось покорпеть, но результатом мы остались довольны: «Трамбуй пятикг посылку. Клей спецкупон. Запрещ: бумаги, лекарства, воспламжидк. Треб: табак-сигар-ячменконц-пшенмука...».

Мне вспомнились столбцы частных объявлений с их характерным жаргоном, но смешно не стало; напротив, я подумал о старых страницах с неожиданным чувством ностальгии. О, эти плотные серые столбцы с их словно жадным телеграфистом кромсанными словечками, они говорили нам о добронравных дамах сорока лет, готовых связаться с целью замужества; об имеющих виды стеномашинистках; о приличных жилусловиях; о зазывных матримкомнатах для постоянно занятых; о меблированных квартирах с термотуалетом в ожидании госслужащих. О, эти столбцы серых букв, это из них мы узнавали о последней цене на автомобили, созданные для ласкового шуршания шинами по асфальтам дорог вокруг голубых озёр; о револьверных токарных станках, которых ждут не дождутся в шумных цехах; это они сообщали нам об уважающих себя конторах, о выгоднейших сделках, о честных пенсионерах, о предложениях занятости. И вот я, прежде столько иронизировавший над их странными словечками, теперь, когда вспоминаю их из своего заточения, испытываю тихое чувство ностальгии.

Серые странички, тиснутые в грошовые строчки слова, только сейчас я разглядел в вас поэзию. Полную трепета поэзию и мощный ритм: поэзию труда и ритм жизни.

Когда я слышал эти чудные сочинённые для нашего письма слова, я думал о серой страничке частных объявлений и о нарушенном теперь ритме. Сейчас мне видится белая, отвратительно пустая страница, внизу которой – одно единственное объявление размером в пять миллиметров, одна единственная безумная и отчаянная строчка: «Ребёнок, по вечерам ищу моего далёкого папу». «Трамбуй пятикг посылку, клей спецкупон»... Да, я вспомнил бойкие словечки последней страницы старого «Курьера»: и стеномашинистку, и матримкомнату, и термотуалет. Но мне не было смешно, я решил, что мне самому такой приём вполне бы теперь подошёл. Я покинул компанию и принялся заполнять мелкими-мелкими буквами свои двадцать четыре строчки. Я стал писать простым карандашом над пунктирными линиями, как того требуют те самые конвенции, которые защищают права человека:

«Жена, трамбуй пятикг посылку. Клей спецкупон. Запрещ: бумаги, лекарства, воспламжидк. Треб: шерстобмунд табак-сигарет-сушёнкаштан. Если, однако, ты считаешь, что отваренные каштаны могут пригодиться

ребёнку, не присылай. Мне всего хватает. Об одном прошу: чтобы в канун Рождества ты накрыла стол как можно праздничней. Вскрой ящик с посудой и хрусталём; выбери самую лучшую скатерть, ту, новую, кружевную; свет зажги везде. Укрась большую новогоднюю ель множеством свечек, а у окна красиво расставь вертеп, как в прошлом году.

Жена, мне необходимо, чтобы ты это сделала. Мои мысли еженощно перелетают за ограждения – знаю, тебе трудно представить себе перелетающие за ограждения мысли. Мысли – это неосязаемое и невидимое дуновение, поэтому ты себе лучше представь, что это я сам еженощно выхожу за ограду. Представь себе Джованнино, лёгкого, как сон, и прозрачного, как ветер ясных и морозных зимних ночей.

Каждую ночь я, пока все спят, вверяю себя ветрам и стремительно перелетаю бескрайнее безмолвие незнакомых стран и городов. Подо мной всё темно и грустно, а я отчаянно ищу свет и покой. Вот и наша Мадоннина на Дуомо, но улицы и площади теперь не такие, как прежде, так что я насилу узнал наш четвёртый этаж.

Жена, не говори, что я опять безрассудствую, спускаясь в дом через крышу, напротив, оцени мою осторожность, когда я не пытаюсь пройти по разрушенным лестницам. Да к тому же раз крыша сорвана – так даже сподручнее. Я нашёл остовы наших комнат и теперь ищу под обломками обрушившихся стен наше прошлое. Здесь тоже всюду темно, холодно и грустно, и только при свете луны удаётся различить на обрывках обоев, всё ещё свисающих со стен, светлые пятна и следы от нашей мебели. По пустынным улицам разгуливает один лишь страх в лунных одеждах. На фрагменте обоев в бывшей прихожей я вижу цветочек. Необычный чёрный цветок с пятью лепестками. Жена, ты помнишь, как наш малыш Альберт разукрасил комнаты своей непослушной ладошкой, измазанной в туши? Напрасно пытаюсь я найти свидетельства счастливых дней, проведённых в кабинете: нет стен, и всё огромное здание теперь – мрачная груда цемента, почерневшая от дыма.

Я сбегая из тёмного и молчаливого города и заглядываю в те места, где ты девицей знавала меня, юнца. Но и здесь – убогая тоска, и тогда я прячусь в тот домишко, где громоздятся мои последние пожитки и мои первые переживания. Ты спишь, спит малыш Альберт, мои мать с отцом спят.

Все спят и, быть может, пытаются во сне отыскать безвестное моё, далёкое убежище. Наша мебель бестолково толпится по комнатёнкам, погружённым во тьму, а в пыльных коробах на чердаке смёрзлись мои книги.

Жена, я ищу немного света, немного безмятежной теплоты, но нахожу только мглу и холод, и в этой мгле мне не различить лица моего сына; на озёрах и пляжах – ни огонька, всё заброшено, всё молчит, и я вновь прилетаю к заграждениям и опускаю на солому стынувшие кости за номером 6865.

Жена, необходимо, чтобы хотя бы в рождественскую ночь я мог мысленно вырваться из заточения и побыть там, где тепло и светло. Мне хочется много света, хочется увидеть ваш образ, мне хочется увидеть этот образ незапамятного мира. Иначе что мне за радость в узничестве?»

Тут мне показалось, что 24 строчки уже на исходе, и я прервался. Строчек оказалось на самом деле 138: я заполнил 24 своих, 24 ответных, и ещё – пять попавшихся под руку листочков. Я тщательно всё стёр и начал заново:

«Жена, трамбуй пятикг посылку. Клей спецкупон. Запрещ: бумаги, лекарства, воспламжидк. Впакуй шерстобмунд, табак-сигар...»

Потом я подумал, что цензуре в «трамбуй-пятикг-посылке» может причудиться невесть какая взрывчатка, и с горечью заключил, что вечно не знаешь, что сказать, когда приходится писать домашним.

Из беседы «Рождество 1943 года» – Лагерь в Беньяминово
24 декабря 1943 года